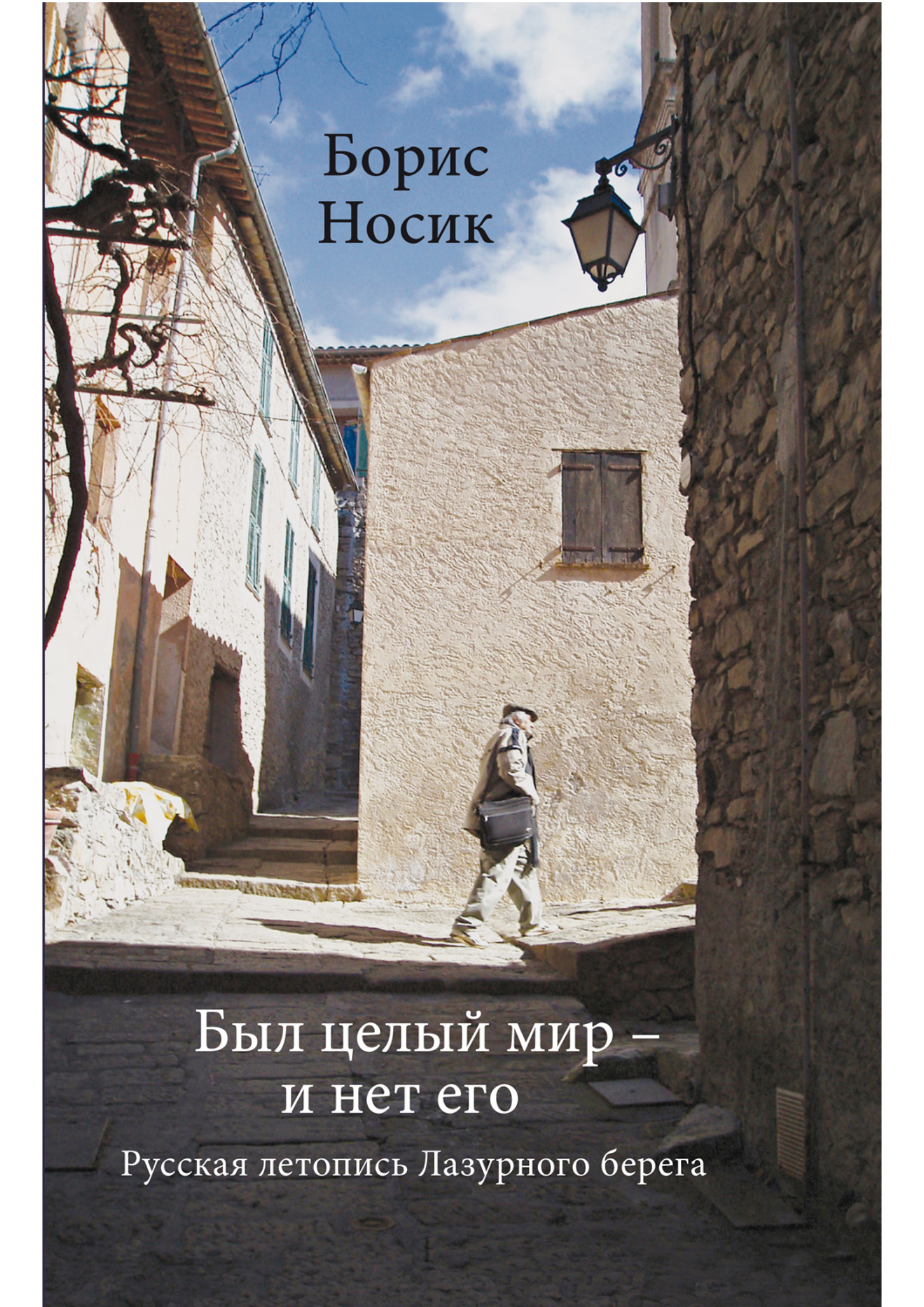




Борис
Носик

Был целый мир –
и нет его

Русская летопись Лазурного берега

Борис Носик

**Был целый мир – и нет
его... Русская летопись
Лазурного Берега**

«WebKniga»

2015

УДК 929(470+44)
ББК 63.3(4Фра)+63.3(2)=8

Носик Б.

Был целый мир – и нет его... Русская летопись Лазурного
Берега / Б. Носик — «WebKniga», 2015

ISBN 978-5-75-161441-6

Строка из стихотворения Георгия Иванова, ставшая заголовком этой книги, очень точно отражает ее дух и смысл: лучшие сыны и дочери России упокоились вдали от родины — и, как правило, не по своей воле. О тех, кто похоронен на многочисленных русских кладбищах юга Франции, — последняя книга Бориса Михайловича Носика (1931—2015), тонкого ироничного прозаика, летописца русской эмиграции во Франции, автора множества биографий, включая жизнеописания Ахматовой, Модильяни, Набокова, Бенуа, Жуковского, Швейцера. Внимательный читатель в очередной раз испытает гордость и горечь: столько людей, одаренных великими талантами, высокой нравственностью и силой духа, родила Россия — и всех этих людей она потеряла в результате большевистской революции и Гражданской войны начала XX века. Фото в книге — из семейного архива автора.

УДК 929(470+44)
ББК 63.3(4Фра)+63.3(2)=8

ISBN 978-5-75-161441-6

© Носик Б., 2015
© WebKniga, 2015

Содержание

* * *	6
Информация от издательства	7
Антон Носик. Последняя книга отца	8
К приютам волшебного берега	9
От райского Йера к Мимозному Борму и деревеньке Лаванду	11
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Борис Носик

Был целый мир – и нет его

Русская летопись Лазурного Берега

*Издательство «Текст» благодарит семью и друзей автора за
помощь в подготовке издания этой книги*

*Все чаще эти объявления:
Однополчане и семья
Вновь выражают сожаленья...
«Сегодня ты, а завтра я!»*

*Мы вымираем по порядку —
Кто поутру, кто вечером
И на кладбищенскую грядку
Ложимся, ровненько, рядком.*

*Невероятно до смешного:
Был целый мир – и нет его.*

*Вдруг – ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну, абсолютно ничего!*

Георгий Иванов, 1941

* * *



Туррет-Леван. Приморские Альпы. Франция

Информация от издательства

Художественное электронное издание

Носик Б.

Был целый мир – и нет его... Русская летопись Лазурного Берега / Борис Носик. – М.: Текст, 2016.

ISBN 978-5-7516-1441-6

Печальная строка из стихотворения Георгия Иванова, ставшая заголовком этой книги, очень точно отражает ее дух и смысл: лучшие сыны и дочери России упокоились вдали от родины – и, как правило, не по своей воле. О тех, кто похоронен на многочисленных русских кладбищах юга Франции, – последняя книга Бориса Михайловича Носика (1931–2015), тонкого ироничного прозаика, летописца русской эмиграции во Франции, автора множества биографий, включая жизнеописания Ахматовой, Модильяни, Набокова, Бенуа, Жуковского, Швейцера. Внимательный читатель в очередной раз испытает гордость и горечь: столько людей, одаренных великими талантами, высокой нравственностью и силой духа, родила Россия – и всех этих людей она потеряла в результате большевистской революции и Гражданской войны начала XX века.

В книге использованы фотографии Т. Носик, Д. Попова, Е. Ушаковой, П. Шидывара

Фотографии на обложке Д. Попова: Русскийон-сюр-Тинэ, Мимозный Борм

Фотография автора на обложке Сандры Носик

Иллюстрация на фронтисписе Д. Попова

© Борис Носик, наследники, 2016

© «Текст», 2016

Антон Носик. Последняя книга отца

Книга, которую вы держите в руках, – последний труд моего отца, писателя Бориса Носика, скончавшегося в Ницце в феврале 2015 года. Книга посвящена теме, глубоким исследованием которой отец занимался больше 30 лет: судьбам россиян, в разные годы XIX и XX веков перебравшихся во Францию и здесь окончивших свои дни.

Борис Михайлович Носик – к тому времени известный в СССР писатель, сценарист, драматург, журналист, переводчик Ивлина Во, биограф Альберта Швейцера – переехал из Москвы в Париж в начале 1980-х годов. В стенах Тургеневской библиотеки он столкнулся с представителями первой русской эмиграции, людьми, сами имена которых в ту пору находились в СССР под запретом. Были среди них потомки знаменитых аристократических родов, писатели, художники, ученые, музыканты, политики предреволюционной эпохи, офицеры белой армии... Он завел с ними дружбу, записывал их воспоминания, получил доступ к семейным архивам и неизданным мемуарам – и вскоре сделался преданным хронистом истории «русской Франции», судьбам которой он посвятил десятки книг, рассказов, репортажей и телевизионных передач. После отмены цензуры в СССР тема перестала быть запретной, и книги Бориса Носика о жизни русских во Франции XX века нашли читателей и издателей в России.

Не будучи историком по образованию и призванию, но всю жизнь проводя в путешествиях, для составления своих исторических хроник Борис Носик часто обращался к жанру путеводителя, привязывая сюжеты к местности, в которой они разворачивались. Не стала исключением и эта его последняя книга. Она рассказывает о кладбищах Южного берега Франции, знаменитого Côte d'Azur, о жизни и смерти людей, здесь похороненных, и при этом ее можно использовать в целях вполне практических, путешествуя вдоль Средиземного моря, от Граса до Ментоны, по департаментам Вар и Приморские Альпы, находя здесь места, значимые для российской истории, но прежде ни в каком путеводителе не упомянутые... А можно читать эту книгу и безо всякой туристической нужды – как неожиданно подробный рассказ о славных, но, увы, малоизвестных страницах нашей истории.

Сам Борис Носик похоронен в Ницце, на русском кладбище Кокад, по соседству со многими героями своей последней книги – такими, как соавтор Козьмы Пруткова, поэт и чиновник Владимир Жемчужников, поэт и критик Георгий Адамович, белый генерал Николай Юденич, светлейшая княгиня Екатерина Долгорукова (морганатическая супруга Александра II), царский министр иностранных дел Сергей Сазонов (убедивший Николая II в необходимости участия в Первой мировой), композитор Леонид Сабанеев и Генриетта Гиршман, портрет которой кисти Серова поныне украшает стены Третьяковки. Но жизнь автора и его персонажей продолжается в рассказе, который вам предстоит сейчас прочитать.

Антон Носик

К приютам волшебного берега

На Лазурном (и вполне лучезарном) Берегу Франции живало в последние полтора столетия немало славных наших соотечественников. Пусть даже и не так много их было, как прочих европейцев, азиатов, африканцев или американцев, но все же регулярно приезжали сюда, на теплый берег и наши намерзшиеся за зиму компатриоты: отогревались, общались друг с другом, а потом, слегка наскучив и берегом и недостатком общения (то ли дело Петербург, Москва, Лондон или Париж!), собирались в обратную дорогу. Ан не всем выпала судьба с чудного этого берега вернуться: многие тут и остались... Так вот наша новая книга для многих из них станет как бы возвращением на родину, хотя бы и виртуальным, хотя бы и запоздалым...

Приезжали они сюда, как мы знаем, по причинам разной степени серьезности, так что не всегда ехали в бодром настроении. Однако добравшись, выйдя из экипажа или вагона поезда (а то уж и вовсе шагнув на трап самолета в аэропорту), невольно улыбались они приветливому солнцу, цветам, шелесту пальм и блеску Средиземного моря, щекочущему чесночному запаху провансальской кухни.

Что же так неудержимо влекло их сюда, наших незабвенных? Одни горячо надеялись тут исцелиться от проклятия тех времен, чухотки, и иных хворей (таким и было большинство приезжих); другие хотели всего-навсего отдохнуть от столичной суеты, наскучившего труда, скучной серости неба, а то и просто от полного безделья; третьи бежали от жизненных неудач на родном севере, от гонений, клеветы, навета врагов и всякой кривды (за морем-то, известное дело, телушка полушка).

Позднее, после 1917 года, горестной толпой бежали они от насильников, обманом и силой сумевших взять власть в их стране, на долгие десятилетия отгородив ее от всего мира, да так, что и соединиться с оставшимися в неволе родственниками или самим вернуться в родные места стало для изгнанников невозможным. Долго надеялись беженцы на перемены, на свое возвращение, на встречу с близкими, ждали часа. И год ждали, и три, и восемь, и десять, и двадцать... А потом и надежду потеряли. Угасая на этом берегу, в городе Йере, в отчаянье написал тогда русский поэт:

Четверть века уже за границей.
И надеяться стало смешным.
Лучезарное небо над Ниццей
Навсегда стало небом родным...

Под этим небом они и умирали, тут и были захоронены на склонах лазурных гор и в живописных ущельях. Кое-где были устроены в селениях особые русские кладбища. А порой случайно вдруг наткнешься близ здешнего берега на русское имя и даты жизни. Встрепенешься: земляк! И похоже, что имя не совсем знакомое. Вот еще б вспомнить подробнее, кто она была эта Прасковья? Эта Авдотья? Лидия? Георгий? Этот Ушаков? Сидоров? Фальц-Фейн? Меранвиль?... Впрочем, даже и не вспомнив точно, можешь все же цветок положить на камень, такой же теплый и кратковременный цветок, как мы с вами. Положишь, и вроде как на душе станет легче.

Сам я вхожу в число тех людей, кто уже с молодых лет больше любил прогулки по кладбищам, чем по шумным паркам культурного отдыха с их толпой. В зрелости отметил я путем чтения разных книг, что я не один малахольный на свете. Такие даже французские писатели попадают, убедительно приглашающие своих читателей на прогулку по Пер Лашез или какому ни то иному парижскому некрополю...

А теперь вот я надумал пригласить вас в паломничество к русским могилам на издавна обжитом россиянами французском Лазурном Берегу Средиземного моря. Понятно, что упомянутая выше давность и многолюдность русского проживания на этом берегу вполне незначительны в сравнении с древностью здешнего заселения или его многолюдством. А все же и оно оставило след в толще нашей культуры, и не следовало бы нам его терять, раз уж пришло время собирать, а не разбрасывать камни. Оттого и зову вас в это новое паломничество по Франции, на сей раз снова по Французской Ривьере.

Что касается городов, селений и потаенных уголков Ривьеры, по которым пройдет наше путешествие, то несравненная их южная красота давно известна подлунному миру. Волшебный уголок планеты. Да и общее направление нашего странствия, надеюсь, не покажется вам бесцельно грустным. Надеюсь, даст оно моим попутчикам очищающее чувство исполненного долга, случай еще раз поразмышлять о жизни и смерти, новую остроту восприятия блистающего мира... Не могут не навести их на раздумия о жизни ушедших поколений, которым выпали на долю не только XIX, но и кровавый XX век со всеми его потрясениями. Что же до невольной нашей грусти и сочувствия, то думается мне, что эти переживания и мысли, сопутствующие нашему паломничеству, совсем небесполезны, а могут даже оказаться благотворными.

Один из французских авторов написал однажды о дорожках старых кладбищ как о «перепутье для размышлений, наилучшем уголке для прогулок, в ходе которых можно мысленно плести над чужими могилами узорное кружево собственной жизни».

Вспоминаю, что меня самого по переезде из Москвы во Францию (тридцать с лишним лет тому назад) бесконечно занимала история тех наших соотечественников, что оказались здесь некогда в изгнании. Большинство из них еще до изгнания и бегства успело прожить блистательный век на оставленной родине. Как повели они себя в новых обстоятельствах, когда утратили семьи, состояние, всяческий престиж, родственные и дружеские связи, профессию, родные места и родовые гнезда? Это было для них жестокое испытание. Неудивительно, что иные из этих пылких идеалистов, гордых снобов или утонченных эстетов пережили здесь почти полное падение и стали подонками общества. Удивительным было другое: то, что столь многие устояли в этих условиях и сохранили внутреннее достоинство. Что они сохранили энергию, жажду деятельности, общественный темперамент, самоотверженность, доброту, любовь к людям и к оставленной, недоступной родине, которая с каждым годом становилась там вдали чем-то иным, все менее знакомым и понятным.

Эмигрантские судьбы этих соотечественников пройдут перед вами в нашем кладбищенском странствии, на этой «лучшей из прогулок» (по выражению упомянутого выше М. Данселя), в нашем паломничестве к русским могилам, разбросанным по волшебному берегу Ривьеры...

От райского Йера к Мимозному Борму и деревеньке Лаванду

Наше паломничество к родным могилам будет, как вы уже поняли, путешествием по кладбищам древних живописных селений средиземноморского берега. Трудно отказаться от надежды, что проявленное нами внимание к последнему приюту ушедших будет небезразлично для тех, кто ушли в мир иной близ этих мест. Отчасти потому я и приглашаю вас в путь.

Начать его я решил в городе Йере, что в департаменте Вар в четырех километрах от прославленного Лазурного Берега. Городок возник близ моря, но все же и не на самом его берегу: от него меньше часа пешего ходу до песчаных пляжей полуострова Жиен. Фокейские греки основали тут первое поселение еще в незапамятные времена, так что уже за четыре века до Рождества Христова правила здесь эллинская Ольбия. В X веке город упомянут был как Йер, но до того, как стал он зимним прибежищем для северян-иностранцев, ищущих тепла да избавления от недугов, прошло еще добрых восемь столетий. Город, окруженный крепостной стеной, высился близ горного массива, на склоне холма Кастеу. От этих стен двинулся некогда король Людовик Святой в Седьмой крестовый поход, а что до замка Йера, то он был разобран уже в XVII веке по приказу Людовика XIII. После этого прошло еще больше трех столетий до последней здешней военной стычки с врагом в августе 1944 года, когда американцы с британцами, вкупе с подразделением сенегальцев, очистили берег от немцев, охотнее, понятное дело, сдававшихся в плен американцам и британцам, чем сенегальцам. Тем последняя мировая война и была здесь закончена: снова, как до войны, потянулись хворые иностранцы в городок Йер, который американский писатель Скотт Фицджеральд назвал когда-то «преlestнейшим из всех мест на земле».

Давнее пристрастие англосаксов к нежному Йеру вполне объяснимо. Всякий, кто провел хоть одну сырую, зябкую зиму на зеленом британском острове, без труда догадается, что первыми иностранцами-бокогреями должны были стать англичане. Одним из первых (два с лишним века назад) грелся на этом берегу британский посол, лет десять спустя (в 1788–1789) зимовал в Йере принц Уэльский, подавший добрый пример всей лондонской знати, а в 1791-м даже вышел в свет английский роман, действие которого разворачивается в Йере. Так что и с европейской знатью и с изящной словесностью у маленького Йера довольно старые и престижные связи. Творец знаменитого «Острова сокровищ» Роберт Льюис Стивенсон, поселившись здесь в 1863 году, во всеуслышанье заявил, что это «почти рай». Королева Виктория отдыхала в Йере добрых три недели, однако самое крупное (и близкое к литературе) событие имело здесь место еще до Стивенсона и до королевы, а именно в 1860 году. На нем я и собираюсь остановиться далее подробно, а пока два слова о самом городке, каким я его впервые увидел.

Пестрящий южными цветами, шелестящий пальмами Йер хранит и поныне следы своей почтенной и живописной старины. Высится в центре города на площади Масийон башня XII века, в которой размещалась некогда командерия тамплиеров. За площадью петляют узкие средневековые улочки, ревниво сохраняющие булыжное покрытие. На одной из улиц слепит глаза голый фасад «старческого дома», на который еще лет десять тому назад советовал я местным властям прибить мемориальную доску с именем замечательного русского поэта, который провел в этом доме последние годы жизни и умер в нем, успев написать здесь свои новые, совершенно упоительные стихи. Его имя было Георгий Иванов, и если власти в Йере не последовали моему совету, то, вероятно, не только оттого, что никто здесь не читает книг по-русски. Просто – кому нужны советы бродячих иностранцев? Своих-то

выслушать некогда... Как верно отмечал живший неподалеку отсюда Иван Бунин, даже при советской власти, никто ни с кем никогда не советовался.

Не вовсе случайная здесь ссылка на Бунина подводит меня вплотную к имени, без упоминания которого не проходило ни одно застолье в ривьерском бунинском доме. К тому самому имени, с которого я и собирался начать наше паломничество к русским могилам. К единственному русскому имени, которое слышали, может, даже в мэрии города Йера. К русскому имени, которое помнят и на здешнем городском кладбище. Это имя – ТОЛСТОЙ. Уверен, что когда ни то прильнет к этим берегам всеобщая грамотность и любой французский труженик, даже какой-нибудь там кибернетик или математический доктор наук, скажет: «Как же, помню это имя: Леон Толстой. У него еще братан в Йере лежит на кладбище...»

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ, любимый старший брат Льва Николаевича, умер в Йере в самом начале октября 1860 года и был похоронен на городском кладбище «Парадиз». Трагическое это событие стало одним из величайших потрясений в жизни младшего брата Льва, великого писателя земли Русской.

Николай Толстой (по семейному Николенька) был тоже писателем, даже напечатался однажды в «Современнике» и был тепло принят его знаменитыми издателями – Некрасовым, Тургеневым, Панаевым. Очерк тридцатилетнего Николеньки «Охота на Кавказе» остался единственным напечатанным им при жизни сочинением. У Николеньки не было ни темперамента, ни амбиций младшего брата, ни его упорства и энергии. Но человеком он был добрым, высоконравственным. Он более других привязан был к матушке, которая умерла так рано. Семилетний шалунишка Коля (Коко) остался за старшего в ватаге сирот, и овдовевший отец, возлагая на его детские плечи большую ответственность, написал однажды: «Я рекомендую Коко быть для своих братьев примером послушания и прилежания». Как ни удивительно, Коко понял и принял эту ответственность и стал для младшего брата и сестер примером и воспитателем. Левушку он называл «мой дорогой ученик». И надо сказать, в этом своем качестве воспитателя он проявил талант и воображение писателя. Он придумывал для младших детей игры и сказки, увлекая их на поиски некой волшебной «зеленой палочки», зарытой в парке на краю оврага. На ней, дескать, были написаны тайные слова, которые помогут истребить зло в людях и открыть все блага. Детские выдумки Николеньки, пересказанные позднее младшим братом, произвели на русских интеллигентов немалое впечатление. Мне довелось, например, читать, что, добравшись столетие спустя до вольного Парижа, русские изгнанники (среди них писатель Дон Аминадо и великий бакалейщик-караим Ага) начали новую жизнь с издания детского журнала: дети должны были вырасти другими, чтоб не разделить унижения изгнанных отцов и дедов. И название для нового журнала не случайно пришло им в голову именно такое: «Зеленая палочка».

Жизнь Николеньки Толстого протекала в соответствии с традицией его круга. В 16 лет он поступил на математический факультет Московского университета, потом учился в Казанском университете, потом служил в артиллерии близ Москвы. Получив при разделе имущества наследное имение, он удалился в усадьбу, читал на досуге стихи, писал, охотился. Потом вернулся на военную службу, послужил на вечно бунтующем Кавказе, не раз был награжден орденами за храбрость в деле, а тридцати пяти лет от роду вышел в отставку в чине штабс-капитана. И притом оставался все тем же добрым, честным, слегка апатичным (с юности предпочитал не ходить в гости, а ждать, чтобы друзья пришли к нему), чувствительным братом...

Сохранилось его письмо родным о том, как тяжело ему было сдавать своих крепостных (имел он 317 душ мужеского пола) в рекруты: «Не знаю, что лучше: видеть, как умирает солдат в деле или как провожают гожих, как у нас их называют. Бедный наш, добрый русский мужик! И когда поймешь, что никак не можешь облегчить его участь, то делается как-то гадко и досадно за себя».

Часто ли услышишь нынче подобное, хоть бы от видных патриотов, гуманистов и «властителей дум»?

Вскоре после ухода в отставку, когда в своем поместье читал Николай умные книги и занимался переводом Библии, обнаружилось, что вездесущая чахотка, гнездившаяся в его теле, перешла в наступление. Родные повезли его на лечение в теплую страну докторов Германию. Но осень в Германии в тот год выдалась холодная, Николеньке стало хуже, и тогда младший брат перевез больного в хваленый французский город Йер, где все еще тепло. Поехала с братьями и сестра Мария, обремененная детьми. Сестра сняла виллу у моря, а братья остановились в пансионе на нынешней рю Кюри. Здоровье Николая быстро ухудшалась. Младший брат Лев вспоминал об угасании старшего: «Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым ее шагом следил...»

Не прожив в Йере и месяца, Николай покинул наш мир и младшего брата, отчаянье которого было безграничным. «Мало того, что это один из лучших людей, которых я встречал в жизни, – писал Лев Николаевич, – <...> что с ним связаны лучшие воспоминания моей жизни? – это был лучший мой друг».

Тема смерти прочно входит в творчество брата-писателя. Тогда, в Йере, и долгие годы после Йера потрясенному Льву Толстому казалось, что случившееся у него на глазах с братом делает самую человеческую жизнь бессмысленной. Он написал в письме через несколько дней после трагедии: «...он умер буквально на моих руках. <...> Для чего хлопотать, стараться, если от того, что было Н.Н. Толстой, ничего не осталось. <...> К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью подлости, лжи, самообманывания, а кончатся ничтожеством...»

Всем, даже глубоко верующей тетушке, Толстой пишет в те дни о своей ненависти к смерти. Смерть – конец всему. И какой же тогда смысл в жизни?

Тема смерти проходит почти через все произведения Льва Толстого, и только после происшедшего в нем перерождения в конце семидесятых годов он смиряется с ней, не веря больше, что это конец всему. Собственно, уже в «Войне и мире», рассказывая о смерти Андрея Болконского, Толстой пишет, что «то грозное, вечное, неведомое присутствие, которое он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и – по той странной легкости бытия, которую он испытывал, – почти понятное и осязаемое...». Толстой пишет о «простом и торжественном таинстве смерти», о смерти как пробуждении и даже новом рождении.

К концу семидесятых годов он приходит к убеждению, что смерть есть лишь переход в другое бытие, что хорошо жить – значит хорошо умереть. Что умереть – значит просто уйти туда, откуда пришли. Может быть, человек просто меняет способ путешествия... «Рад, что не перестаю думать о смерти», – пишет он о своей «радостной готовности к смерти».

Смерть пришла к младшему брату в свой черед, и она явилась тогда потрясением для всей мыслящей России. В своем биографическом романе В.В. Набоков рассказывает, как восприняли весть об этой смерти его молодые родители, оказавшиеся в ту пору за границей. Эта весть словно требовала от них, интеллигентов, какого-то решения. И они решили вернуться в Россию...

После смерти брата Лев Николаевич оставался еще некоторое время в Йере, жил на вилле, снятой сестрой Марией, ездил в Италию, изучал систему образования во Франции. Это была его последняя зарубежная поездка.

Через каких-нибудь два десятка лет после погребения Николая Толстого именно на месте кладбища «Парадиз» городок решил построить новую школу. Поскольку могильный участок Н.Н. Толстого был оплачен «навечно», прах его был перенесен на кладбище «Риторт», как, впрочем, и останки из других могил, оплаченных для вечного упокоения. Однако нетрудно догадаться, что в местах, где земля становится что ни день то

дороже, а земельная спекуляция все беспощадней, покой нам только снится. В конце концов местные власти приняли вполне практичное решение в отношении братства усопших (без учета, конечно, их пожеланий, земных званий, надежд, рода занятий, былой деятельности). Останки «навечно» похороненных русских, переселенные с прежнего кладбища, снесли для удобства и экономии в одну общую могилу, на которой установили привезенное из России солидное каменное надгробье, и на нем были высечены имена граждан России, умерших в Йере от туберкулеза совсем еще молодыми. Список открывает имя графа Николая Николаевича Толстого, прожившего на свете 37 лет...

Другие погребенные здесь россияне прожили и того меньше: МИЛОСЛАВ КИРКОВСКИЙ из Вильны – тридцать три года, СТАНИСЛАВ ВСЕСЛАВСКИЙ не дожил до тридцати, супруги ЭДЖЕХОВСКИЕ, граф АРСЕНИЙ МОШЕН, граф ПЕТР КОЗЛОВСКИЙ, ЕКАТЕРИНА РУБАКОВА...

Если двинуться от Йера по живописной дороге, ведущей на северо-восток, то за каких-нибудь полчаса доберешься в сказочный древний городок на горе, почти нависающей над морем. Типичное горное селение: узкие улочки, осененные арками, цветы, кактусы, лимоны, пинии...

Древние римляне называли этот городок Бормани. Позднее он стал Бормом, точнее даже Сосновым Бормом. И только в двадцатые годы прошлого века обитатели Борма попросили переименовать их живописный городок в Мимозный Борм. Власти пошли навстречу народным чаяниям: завезенная из мексиканского похода мимоза преобразила улочки города.

Красоту этого крошечного городка не раз воспевали мимохожие и мимоезжие поэты, в том числе и русские. Один из них (вполне известный когда-то в Петербурге поэт Саша Черный) писал под конец жизни вполне умиленно:

Борм – чудесный городок,
Стены к скалам прислонились,
Пальмы к кровлям наклонились.
В нишах тень и холодок...

И еще много-много улыбчивых стихотворных русских строк написал о Борме влюбленный в этот провансальский городок поэт-изгнанник, знакомый некогда всему столичному Петербургу и счастливо заброшенный на этот русский в ту пору берег.

Мимозный городок Борм, отрада художников и поэтов, и до недавнего времени дышал русскими воспоминаниями. Я их там еще отметил, пройдя от главной площади и часовни Святого Франсуа де Поля к воротам здешнего кладбища, от ограды которого открывается упоительный вид на изумрудную долину и синий морской простор.

Едва войдя на кладбище, можно увидеть немаловажное для нашего рассказа русское надгробие. Упоминание о нем, как, впрочем, и обо всем этом кладбище, не попало даже в престижную некропольную книгу отставного полковника Романова, вышедшую недавно в Москве, а между тем с именами похороненных здесь АПОЛЛИНАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ ШВЕЦОВОЙ (1877–1960) и БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА ШВЕЦОВА (1873–1939) связано непредвиденное распространение русской речи на здешнем берегу.

Борис Алексеевич и Аполлинария Алексеевна были сибиряки, родом из далекой забайкальской Кяхты, некогда бойкого городка на торговом пути. Из Восточной Сибири в Китай, из Китая в Сибирь тянулись через Кяхту караваны верблюдов. Городок украшался и богател. Здешние дамы шили себе платья в Париже, на концерты в Кяхту они приглашали теноров из

Италии... Конечно, занимались, как положено, благотворительностью, много читали, собирали ценные библиотеки.

Правда, с постройкой железной дороги (КВЖД) торговое значение Кяхты стало падать, но в конце XIX века городок переживал еще неплохие времена. А похороненный здесь Борис Алексеевич Швецов как раз и родился в ту пору в семье местного чаоторговца. Еще совсем молодым освоил он чаоторговую науку, по запаху мог издали различать сорта чая, стал видным человеком в Кяхте (где по-монгольски дружески беседовал с главным ламой), а потом в Москве, Петербурге, да и в Лондоне стал известен. Был он коммерции советником, членом страховых и биржевых обществ. Свои конторы чайной торговли имел по всему свету, так что с приходом русского всеобщего разоренья в новом веке не вовсе обнищал. Имел дом под Парижем, а также землю близ Соснового (позднее Мимозного) Борма, неподалеку от берега в селении Ла-Фавьер. Соседкой его и собеседницей в Ла-Фавьере была Людмила Врангель, дочь известного в свое время в Москве и в Крыму врача и писателя С.Я. Елпатьевского, лечившего М. Горького, знавшего А. Чехова, да и вообще весь московский художественный свет и весь Крым. Среди прочих чудес доступной тогда заграницы описывал этот знаменитый пишущий доктор и здешний прославленный берег, на котором довелось позднее жить его дочери с мужем – строителем и бароном Н. Врангелем (который здесь, кстати, и жизнь свою кончил): «Вот она, наконец, Ривьера, живая, настоящая Ривьера, та расфранченная блестящая красавица, какой рисуется она нам! <...> ярко-синее небо, глубокое и блестящее, и кругом голубое море, уходящее из глаз в ту широкую даль, где цвета сливаются и где перестаешь различать море от неба. Как светло, зелено и радостно кругом и как все выделяется ярко и выпукло. Все чужое, диковинное». Жизнерадостный ироничный доктор Елпатьевский живописал все это еще до прихода страшного века, когда описанный им чудный берег неожиданно приютил его читателей-изгнанников и больше не был для них ни чужим, ни экзотическим. И чего уж он вовсе не мог предвидеть, знаменитый доктор, что в заселении здешнего берега такое активное участие примет его собственная дочь Людмила. Так что не одни пациенты не предвидят своих судеб, но и доктора, которым колонизаторы этого берега, древние римляне, советовали самим перво-наперво исцелиться...

Случилось так, что подросшая и вышедшая замуж за инженера энергичная дочь знаменитого доктора Елпатьевского Людмила (уже в начале нового, начинавшего сходиться с ума века) основала небольшое дачное поселение русской интеллигенции на каменистом берегу Западного Крыма, в Баты-Лимане. А позднее, уже после русской катастрофы и бегства из России, здесь, в Ла-Фавьере, беседуя по вечерам с бывалым сибиряком Борисом Швецовым (она прекрасно описала позднее в своих мемуарах этого «грузного, с расстегнутым воротом на могучей сибирской груди» бизнесмена и любителя книг), предложила ему купить у соседки-крестьянки кусок земли (холм близ берега), потом поделить эту землю и распродать участки под дачные дома для русских. Так они и сделали. Первыми начали строить дачи бывшие обитатели крымского Баты-Лимана, бывшие столичные знаменитости вроде кадетского лидера, историка и журналиста Павла Милюкова и художника Ивана Билибина. Потом появились на этом берегу писатель Куприн, художники Коровин, Гончарова, Ларионов, Рожанковский, ученые (Франк, Когбетлянци), композиторы (Гречанинов, Черепнин) и поэты (Цветаева, Поплавский, Саша Черный)...

Вот так и возник на французском берегу если не прославленный крымский Коктебель или не вполне знаменитый Баты-Лиман, то все же памятный для русской эмиграции провансальский Ла-Фавьер.

В этих местах и умер Борис Алексеевич Швецов. Скончался в 1939 году, как и многие русские, не пережив шока еще одной войны проклятого века. Здесь он и покоится, на маленьком кладбище Мимозного Борма.

Добравшись до самого живописного (юго-восточного) уголка этого кладбища, увидел я семейную могилу князей Оболенских. В ней одно из многих ответвлений княжеского древа Оболенских. Говорят, что княжеское древо это из самых раскидистых в последних пяти веках русской истории (от Оболенских, как сообщают, пошли и Долгорукие, и Щербатовы, и Репнины). Ведь и во французском изгнании оказалось не менее трех ответвлений рода. Патриархом той ветви, которой дала приют живописная могила на кладбище в Мимозном Борме, явился князь ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1868–1950), человек поистине выдающийся. Он родился в Санкт-Петербурге в семье князя Андрея Васильевича Оболенского и княгини Александры Алексеевны Оболенской (урожденной Дьяковой). Андрей Васильевич был сыном героя Отечественной войны, статским советником, общественным деятелем и, по свидетельству Льва Толстого, хорошим человеком. Современники отмечают, что у вполне достойного петербуржца А.В. Оболенского было одно неудобное, хотя и весьма распространенное, пристрастие – к игре в карты, сильно подорвавшее достаток семьи. То не слишком значительное внимание, которое Лев Толстой уделил качествам князя Андрея Васильевича, объясняется, скорее всего, глубоким впечатлением, произведенным на великого писателя в его молодые годы будущей женой А.В. Оболенского, то есть матушкой похороненного здесь князя Владимира Андреевича – Александрой (Александрин) Дьяковой. Это была воистину замечательная девушка. Она была дочерью баронессы Дальгейм де Лимузен, бежавшей от кровавой французской революции ко двору русской императрицы Екатерины II. Беженцев из Франции было тогда довольно много, и принимали их в России вполне ласково. (Со здравым пониманием всех перемен можно отметить, что тех, кто бежал позднее во Францию от еще более кровавой русской революции, принимали куда более безразлично.)

Упомянутая выше Александрин Дьякова была не только красивой, но и высоконравственной, образованной девушкой (позднее она стала основательницей одной из первых женских гимназий в Петербурге).

Молодым человеком Лев Николаевич Толстой часто бывал у Дьяковых, был серьезно влюблен в Александрин Дьякову, делал ей предложение, но получил отказ. Вернувшись в 1856 году с Кавказа, писатель испытал возрождение своего чувства и, приехав после визита к Дьяковым, записал в своем дневнике: «Вернулся к Дьяковым <...> и выехал оттуда <...> страстно влюбленным человеком <...> теперь мне ужасно больно вспомнить о том счастье, которое могло быть мое и которое досталось отличному человеку Андрею Оболенскому...» И дальше в дневнике снова и снова об Александрин, которая была в глазах Толстого «самая тонкая и художественная и вместе нравственная натура».

Сын Александрин В.А. Оболенский именно эту материнскую нравственность положил в основу своей долгой общественной и политической деятельности. О верности ее идеалам Свободы, Справедливости и Любви он писал в конце жизни, в годы гитлеровского и сталинского тоталитаризма: «...эти идеалы, ныне отвергаемые идеологами тоталитарных режимов, я воспринял с раннего детства от своей матери в учении Христа».

Похороненный здесь Владимир Андреевич Оболенский был до революции видным деятелем Партии народной свободы и земского движения, представлявшего собой опыт русской демократии. Чудом избежав большевистской расправы, Оболенские выбрались из России и осели во Франции. Долгие годы Владимир Андреевич жил с женой и семьей сына в приморском русском Ла-Фавьере. Тут они все и похоронены, «старшие» Оболенские, на краю Мимозного Борма, над долиной и морем. На могиле керамические распятия, созданные внуком В.А. Оболенского и сыном Л.В. Оболенского Алексеем Оболенским, скульптором, певцом и филологом, давним моим знакомым, живущим на Фонарной горе в Ницце... Это знакомство побуждает меня чуть подробнее обратить внимание на судьбу весьма обширной

и заметной и все же довольно типичной аристократической эмигрантской семьи, изгнанной из России в результате большевистской «негативной селекции».

Если упокоившемуся здесь известному общественному и земскому деятелю Владимиру Андреевичу довелось после престижной петербургской гимназии окончить естественный факультет Петербургского университета и изучать юриспруденцию в Берлинском университете, то похороненному рядом с ним сыну Льву, да и прочим семи детям, возможностей для хорошего образования оставалось немного. ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1905–1987) кончил школу в Германии, проучился год в Праге, а потом вместе со всей семьей переехал во Францию. Уже под тридцать ему удалось пройти ускоренный (эмигрантский) курс агротехники в Монпелье и получить диплом агронома. До этого зарабатывал он на жизнь нелегким физическим трудом, был, как говорится, разнорабочим, хотя знал толк и в виноградарстве, и других отраслях сельского хозяйства. Да и самому депутату Думы, высокообразованному князю Владимиру Андреевичу (он, кстати, как демократ не любил, чтобы его называли сиятельством) приходилось заниматься «разными работами» – помогать жене в уборке помещений, обслуживать пансион для приезжих русских отпускников, помогать сыну Льву в его бакалейной лавочке и крошечном кафе «У Леона». За все он брался с готовностью, не напоминая при этом ни о своих дипломах, ни о том, что был он еще недавно председателем земской управы Таврической губернии, членом ЦК кадетской партии, депутатом Думы, да и потом, в эмиграции, возглавлял Российский земско-городской комитет (Земгор), входил в правление различных организаций помощи собратьям-эмигрантам.

Надо отметить, что многие аристократы проявили в эмиграции стойкость, готовность к труду, высокое достоинство. Что ни жизненный опыт, ни знания не были ими забыты. В свободные от тяжелой работы часы Владимир Андреевич много читал и писал. Он оставил замечательные (неоднократно изданные) воспоминания, в которых немало ценных исторических свидетельств о политических бурях тех роковых лет, о русских настроениях, о стране, о людях... Разным читателям запоминаются разные эпизоды этой жизни. Скажем, эпизод бегства семьи из Крыма...

Князь Оболенский получил пропуск на борт транспорта «Риони», уплывавшего из Севастополя, но, когда княжеское семейство добралось наконец до этого города, выяснилось, что транспорт уже ушел. Разместив семью в гостинице, князь вышел на улицу и остановился в полной растерянности, не зная, что делать. Глядя по сторонам, он увидел высокого брюнета в офицерском французском мундире, пустой рукав которого был аккуратно заправлен под пояс. Князь обратился к однорукому офицеру по-французски и получил вежливый, благожелательный ответ на чистейшем русском. Офицер пообещал немедленно доложить о семье Оболенских французскому адмиралу и выразил уверенность, что все будет улажено. Уже час спустя шлюпка с семьей Оболенских, которой удалось таким образом спастись от неминуемой расправы, подплывала к борту французского миноносца «Вальдек Руссо».

Остается назвать имя спасителя семьи, таинственного офицера, столь безупречно говорившего (и совсем неплохо писавшего) по-русски. Это был Зиновий, родной брат влиятельного и кровожадного большевистского вождя Якова Свердлова. Он носил фамилию Пешков. Еще совсем молодого Зиновия усыновил его земляк Максим Горький, дал ему свою настоящую фамилию и велел креститься в православие – все для того, чтобы юный «Зина» мог поехать в закрытую для безродного еврея Москву, поступить в школу Художественного театра и стать актером. В школу он поступить не сумел, но крещение, вопреки ожиданиям Горького, воспринял всерьез и даже мечтал одно время уйти в монастырь. В монастырь этот инвалид Первой мировой войны тоже не ушел, а, напротив, стал любимцем прелестных дам и агентом французского МИДа (вполне возможно, «двойным агентом», как это у них, агентов, водится), дипломатом, авантюристом, бригадным генералом, а заодно другом крестника

русской императрицы, непримиримого врага большевиков князя Николая Оболенского, под одним камнем с которым он и был похоронен...

Однако вернемся к бормской могиле князя Владимира Андреевича Оболенского, который до старости не утратил ни горячего интереса к русским проблемам, ни общественного темперамента, ни желания отдать свои силы делу Свободы и Справедливости. После Второй мировой войны он не только помогал жене и сыну в поденной уборке чужих домов для заработка, но и участвовал в выработке платформы Союза борьбы за свободу России. Позднее, перебравшись ближе к Покровскому монастырю в Бюсси-ан-От, что на краю Бургундии, он писал оттуда статьи в парижские газеты и журналы, а иногда приезжал в Париж, в «клуб стариков», где виделся с П. Струве, с министром П. Юреневым (зарабатывавшим на жизнь то стиркой белья, то службой ночным сторожем), с Челищевым, с Менделеевым... Они бесконечно спорили о свободе России и о ее новых бедах. Надо сказать, что готовность к общественному служению и религиозность князь Владимир Андреевич передал детям, внукам и правнукам. Так же как и терпимость, религиозную и довольно редкую в нынешней России – национальную. Женились Оболенские, как правило, на красивых армянках, горянках, англичанках, француженках, а в Думу князя Владимира выдвинули некогда... крымские евреи.

И еще передал своим потомкам князь-изгнанник, похороненный здесь, над средиземноморским простором, неистребимую любовь к искусству. В.А. Оболенский был высокий ценитель искусства, недаром вечно выбирали его в свои комитеты и сообщества видные русские музыканты, композиторы, антиквары и в России до революции, и в эмиграции. И среди потомков его немало художников и скульпторов.

Следует, конечно, заметить, что дети Владимира Андреевича на трудных путях изгнания не всегда могли получить достойное образование. Эмигрантам думалось: скоро вернемся в Россию, там доучатся дети. Оттого и хлеб потом многим доставался нелегко. Работали и малярами, и камнерезами, и поварами... Однако все встали мало-помалу на ноги. Вот и сын Лев, первым зацепившийся близ Борма на чудном этом «русском» пляже Ла-Фавьер, где и родители с ним подолгу жили, куда приезжали к нему и братья, в конце концов построил собственный дом, куда пускал постояльцев.

Что касается семейных политических взглядов, то опыт патриарха семьи В.А. Оболенского, получившего тревожное предостережение против насилия еще и в первую русскую революцию, смог дать его потомкам основательную прививку против любых соблазнов модного «советизанства», от которого и этот эмигрантский берег не был огражден. Наивно было бы полагать, что Москва оставит без присмотра столь заметное скопление «белоэмигрантов», каким был пляжный русский Ла-Фавьер. Можно сказать, что ни один из сыновей и внуков В.А. Оболенского не поддавался пению лубянской сирены. Хотя и вряд ли кто из Оболенских, а меньше других Лев Владимирович мог предположить, насколько всерьез велась разведработа на здешних дачах и в здешних русских пансионатах (один из которых был устроен улыбчивым Диком Покровским, тайным сотрудником и близким другом мужа Марины Цветаевой, агента НКВД Сергея Эфрона). Впрочем, судя по дневникам и письмам самой Цветаевой, и она большинством эмигрантов Ла-Фавьера была встречена поначалу не без опаски.

Ни сыновья, ни внуки, ни правнуки В.А. Оболенского не отдалялись от православия, а иные из них стали церковными деятелями, жили при русских монастырских обителях. Сам Владимир Андреевич, овдовев, провел конец жизни в монастырском уголке Бургундии Бюсси-ан-От. Однако похоронить себя завещал на знакомом берегу над Фавьером рядом с супругой Ольгой Николаевной.

На семейной этой могиле рядом с именами Оболенских заметил я дощечку с незнакомым мне именем – ОЛЬГА МАСС и попросил Алексея Львовича Оболенского рассказать мне, кто эта женщина и кем она приходилась Оболенским. Оказалось, что это была «кварт-

рантка» родителей Алексея Львовича: многие годы снимала она квартиру в доме Оболенских в Ла-Фавьере и дружила с родителями Алексея. В своем семейном архиве Алексей Оболенский отыскал для меня не только фотографию совсем еще молодой, худощавой и дочерна загоревшей Ольги Масс, но и снимок ее красавицы матери, баронессы Масс. Фотографий ее отца мы не нашли, и создалось впечатление, что к тому времени, когда одесский фотограф вручил баронессе свой шедевр фотографического искусства, барон Масс уже успел покинуть черноморский берег. Согласно преданию, это не сильно удручало баронессу, она окружена была сонмом поклонников. Времени на воспитание дочери у красавицы не хватало, и бабушка увезла девочку в бессарабскую глушь, где растила ее и учила тому-другому-третьему, чему и всех учили: французскому языку, игре на фортепьянах... Блистательная матушка посещала дочку время от времени, и в один прекрасный день ее повзрослевшая дочь заявила, что хотела бы «продолжить свое образование не здесь, а в Париже». Баронесса сказала, что не видит к этому никаких препятствий, поскольку в Париже у нее есть замечательный любовник, прекрасная квартира, драгоценности, столовое серебро... Так началась парижская жизнь юной Ольги, в которой были сперва одни только радости, но потом и трагедии. В недобрый час замечательный материнский любовник заявил, что полюбил другую, и баронесса покончила с собой...

В 1934 году Оля вышла замуж за молодого художника Андрея Бакста. Он был, как и она, круглый сирота. Сперва умер его отец, знаменитый художник Лев Бакст, а позднее и его матушка Любовь Гриценко, вдова двух известных художников. Андрей перебрался в Париж, в мастерскую, которую оставил ему отец.

Совместная жизнь Ольги и Андрея оказалась и трудной, и не слишком долгой. Вскоре снова началась мировая война, Андрей ушел на фронт, Ольга уехала в Ниццу. Там, как, впрочем, и во многих других уголках Франции, было довольно спокойно. Однако в 1942 году, после первых парижских облав, стало ясно, что и в Ницце есть люди, которым угрожает смерть, – евреи. Их надо было спасать, прятать, переводить по ночам через границу группы детей и взрослых, помогать мужчинам влиться в Сопротивление. Этим опасным делом занимались отчаянные молодые французы. Ольга Масс была в их числе. Особенно трудным оказался 1944 год. Союзники уже высадились в Нормандии, а здесь, в Ницце, лютовали напоследок немцы и французская полиция Виши. Молодым подпольщикам удалось тогда спасти многих детей и взрослых. Некоторые поплатились за это жизнью. Таково было пусть не слишком массовое (не больше половины процента от населения Франции), но бесстрашное французское Сопротивление...

Война закончилась. Еще какое-то время Ольга оставалась в Ницце, помогая осиротевшим детям и бездомным, а потом вернулась в Париж. Она работала переводчицей, тапером в балетной школе. Даже ухитрилась построить себе небольшой домик в Сент-Же-невьев-де-Буа (где Русский дом и знаменитое православное кладбище). На старости лет она вернулась на Лазурный Берег и сняла комнату в Ла-Фавьере, в доме Льва Владимировича Оболенского и его супруги, с которыми очень подружилась.

Алексей Львович Оболенский вспоминает, что Ольга была странное существо. Весь день курила в постели, без конца читала, переводила стихи на французский. Перевела на французский язык толстый том воспоминаний Владимира Андреевича Оболенского. Слушала музыку и небрежно разбрасывала где попало окурки, от чего не раз загоралось ее многострадальное одеяло. Читала газеты и верила газетным жуликам, предлагавшим рецепты обогащения. Чуть не вся ее пенсия уходила на эти азартные проекты. Она дожила до девяноста лет, похоронив своих лучших друзей-домохозяев. Незадолго до смерти Ольга получила письмо из Иерусалима, сообщавшее, что она причислена к числу «праведников» за спасение евреев во время войны. За нее свидетельствовали кто-то из друзей по Сопротивлению, а также профессор-историк, изучавший Францию времен Второй мировой войны. Присуж-

дением этих высоких званий озаботился иерусалимский Институт-музей Холокоста и Катастрофы Яд Вашем. Оказалось, что мир все же не был так безнадежен и ксенофобия не была тотальной, несмотря на усилия расистов. В одной только Франции институт насчитал две тысячи таких праведников, в других странах их было еще больше. Памятные дощечки, уцелевшие на Лазурном Берегу, кое-где еще поминают имена этих благородных людей. В Марселе рисковал жизнью бывший русский консул Гомелла, в Ницце его бесстрашная супруга Надежда Львовна. А если подумать о тех, чей подвиг не был замечен, кто не был «выдвинут» на высокое звание (или не достал справку о своих подвигах, как иные из послевоенных политиков, вроде Франсуа Миттерана), то, право же, все было не совсем безнадежно.

Алексей Оболенский показал мне свидетельство праведника, которое прислали Ольге из Института Яд Вашем. Настоящий документ. Все как положено. Почтовый адрес: Франция, Ла-Фавьер, карниз Золотых островов, дом 1307, мадам Ольге Масс. Справка номер 7295. Внизу подпись: «Директор департамента праведников». Так и сказано. Истинная весть из Рая...

Я спросил у Алексея, была ли Ольга растрогана этим известием. Он припомнил, что награда за то опасное занятие, которое она называла в своих рассказах «наша работа», была принята ею не без обычной иронии. Сказала, что прислали бы пару сотен, уж она бы пустила их в дело. Вот во вчерашней «Нис Матен» была гениальная схема обогащения, а она уже всю месячную пенсию разбазарила...

Когда Ольга умерла, Алексей Львович развеял ее прах над могилой своих родителей Оболенских. Могила эта над самым обрывом, высоко над долиной: аж дух захватывает.

Встречались мне на этом кладбище и другие знакомые, вполне знаменитые эмигрантские фамилии. Скажем, фамилия КРЫМ. Здесь похоронены вдова и приемный сын знаменитого Соломона Крыма. До того как выйти замуж за СОЛОМОНА САМОЙЛОВИЧА КРЫМА (1868–1936), милая француженка Люси Клар была аптекаршей в Феодосии. Приемный сын Крыма Рюрик Соломонович работал переводчиком в ООН. Оба они и были семьей Соломона, чье недавно вышедшее из забвения и вряд ли знакомое моему читателю имя занимает яркое место в бурной истории нежно всеми россиянами любимого полуострова.

Если вас удивило, что за аптечным прилавком в Феодосии стояла чистокровная француженка, напомним, что сказочный Крым не был до недавних «крымских событий» или до Второй мировой войны ни чисто татарским, ни чисто русским, ни чисто болгарским, ни чисто украинским, ни чисто греческим, ни чисто итальянским, ни чисто еврейским, ни чисто эстонским, ни чисто караимским, ни чисто немецким, ни чисто испанским... В Крыму счастливо сосуществовали все названные мной национальности и еще много-много других. Конечно, такая пестрота раздражала обоих знаменитых европейских деспотов XX века и оба пытались по мере своих сил «зачистить» пейзаж. В значительной степени им это удалось. Полуостров Крым от этого многое потерял и заметно оскудел. Выслали или извели мастеров табаководства, виноградарства, виноделия, овощеводства, хлеборобов, торговцев...

Упомянутый мною Соломон Крым вышел из коренной многодетной феодосийской семьи караимов. Многолюдной была семья, но сам народ караимский был крошечный. До Первой мировой в Российской империи не насчитывали и пятнадцати тысяч караимов (почти половина из них жила в Крыму, а другая половина в Литве). И все же, как бы ни был малочислен народ, он всегда вносит свою краску в многоцветную картину нашего мира. Когда я был совсем юным и шаркал на срочной солдатской службе кирзовыми сапогами по сухой армянской земле, мне и в голову не приходило, что министром обороны был тогда у нас караим маршал Малиновский. Да и что солдату до министра: скорей бы дембель, скорей бы домой. А вот когда снимали близ Вильнюса фильм по моему сценарию, я слонялся по знаменитому некогда Тракаю в надежде попробовать хваленые караимские пирожки и кара-

имские огурчики. Тракайские караимы показались мне не слишком экзотичными, вполне похожими на литовских евреев. А между тем люди ученые объяснили мне, что это сообщество – лишь крошечный осколок великого хазарского племени, тех самых «неразумных хазаров», которых не смог окончательно замочить наш «вещий Олег». Более того, это не удалось даже Гитлеру, который, как и многие из современных политиков, снимал навар с народной ненависти ко всем «непохожим». Тут надо напомнить, что караимы здраво взглянули на реальную угрозу. Покуда евреи, слыша вопли Гитлера, пожимали плечами и «просто не верили», что такой приступ ненависти может приключиться с немецким народом, восторженно читающим строки Гейне, караим С.Э. Дуван (бывший городской голова Евпатории, создатель евпаторийских курортов, городской библиотеки и еще много чего в этом городе) дважды ездил из Парижа в Берлин, где объяснял светилам из высоконучного Института расовых проблем, что караимы – это тюркское племя, а что до их религии, то какое дело расистам до религии... Православные и протестантские батюшки поддерживали ходатайство предусмотрительного караима, и нужную справку о караимской расовой благонадежности ему удалось получить в 1939 году, еще до главного погрома. Так что среди миллионов погибших евреев оказалось сравнительно мало караимских детей, женщин и стариков. Маленький народ выжил. В основном, конечно, в изгнании. Перед войной брат беглого евпаторийского головы С. Дувана стал знаменитейшим театральным деятелем, играл в пражской труппе Московского художественного театра, а заметная караимка Людмила Лопато пела цыганские романсы в своем парижском ресторане. Помнится, я еще застал по приезду в Париж трогательную пожилую хозяйку ресторана «У Людмилы», хотя и не отважился тогда расспросить ее подробнее о парижских караимах. Среди моих московских друзей у меня, насколько знаю, не было караимов, но в молодости мне привелось однажды подниматься в лифте издательства «Молодая гвардия» с самым, наверное, грозным из литовских караимов. Я был молод, беспечен, не знал никаких тайн и потому нисколько не испугался почтенного старика. Но прошло всего каких-нибудь сорок лет, и я узнал, что этот плодовитый автор Лаврецкий, знаток Латинской Америки и обличитель испанской инквизиции, был знаменитейший агент-убийца, который и творил в республиканской Испании все подлости, описанные позднее Оруэллом и Хемингуэем. Его фамилия была Григулевич, он занимался физической ликвидацией республиканцев, принадлежавших к марксистской партии, которая имела неосторожность критически отозваться не только о Троцком, но и о товарище Сталине. Вместе со своим шефом Орловым (Фельдбиным) Григулевич выдал убийцам лидера ПОУМ (марксистской рабочей партии Испании) Андреса Нина. Позднее он организовывал убийство Троцкого, еще позднее разбогател и стал полномочным посланником Коста-Рики в Риме (оставаясь советским разведчиком), ходил на приемы к Папе Римскому, присутствовал и выступал на заседаниях Совета Безопасности ООН...

Впрочем, пишут, что последнее важное убийство, доверенное ему начальством уже в пору, когда он находился «в резерве», завершить Григулевич не успел, хотя и не по своей оплошности. Григулевич не успел укокошить «американского шпиона Тито»: так совпало, что как раз в пору подготовки этой сложной операции великий вождь советского народа ушел в мир иной и на повестку дня его соратников встали более актуальные задачи.

Надеюсь, что мой рассказ о караиме Григулевиче не сможет омрачить воспоминаний о захороненных на этом берегу человеколюбивых сыновьях караимского народа, вроде Семена Дувана или Соломона Крыма. Впрочем, о Дуване и вообще караимах мы еще поговорим ближе к концу этой книги.

Соломон Крым был самоотверженным патриотом Крыма. Он окончил свои дни в усадьбе «Крым» на Лазурном Берегу Франции, хотя как и другие русские изгнанники упрямо ждал возвращения на родину, где давно уже соорудил семейный склеп на караимском кладбище в Феодосии. К 1936 году силы его оставили и, как писал Георгий Иванов, тоже угасший

в этих местах, на возвращение «надеяться стало смешным». Дошли слухи и о том, какому поруганию преданы их бывшие обычаи и могилы предков. (Много позднее чудом уцелевшие, полуразбитые склепы и памятники с оскверненного караимского кладбища Феодосии перевезли к вилле «Стомболи». Что же до «Виктории», феодосийской виллы Соломона Крыма, то ее и сегодня еще показывают случайным туристам.)

Итак, похороненный в бывлой ривьерской усадьбе «Крым» знаменитый крымский эмигрантский деятель Соломон Крым родился в семье богатого феодосийца Самуила Крыма и его жены-караимки Анны-Аджикей Шебатаевны Хаджи в 1868 году, окончил гимназию, потом богословскую караимскую школу в Евпатории, учился на юридическом факультете в МГУ, а потом там же, в Москве, закончил Петровскую земледельческую академию. Получил звание агронома, занимался виноградарством и проблемой хранения винограда. Соломон Крым стал неутомимым земским деятелем, членом кадетской партии, депутатом Первой и Четвертой Думы (где представлял крымских татар), главой Второго Крымского правительства, в которое входили А. Кривошеин, М. Винавер, В.Д. Набоков, В.А. Оболенский... Как легко заметить, членами его правительства были интеллигенты, либералы, демократы, которые в страшное время братоубийственной резни (ноябрь 1918 года) пытались создать в Крыму воистину демократическое правительство, некую либеральную утопию, опираясь при этом на отступавшую уже Добровольческую армию.

Легко догадаться, с каким удивлением глядели на этих людей отчаянные монархисты и отчаявшиеся офицеры, как поражались усилиям министра В.Д. Набокова добиться человечности от сотрудников армейской контрразведки, как были разочарованы ограничениями для своей власти иные татарские начальники. Конечно, эта утопия была обречена, как все российские – и не только – утопии. Но сколько такта, терпимости, ума, мягкости успел проявить неистовый патриот родного полуострова Соломон Крым. В том страшном 1918-м Соломон Крым сумел осуществить заветную мечту своей жизни – создать в Симферополе Таврический университет. В течение почти семидесяти лет (до вольных 90-х годов XX века) в стенах этого университета нельзя было называть имени С. Крыма. Но уж в 90-е его именем даже назвали улицу в Симферополе. А он ведь и в изгнании продолжал собирать деньги на свое крымское детище.

В 1922 году, когда в Берлине монархист застрелил В.Д. Набокова, Соломон Крым первым озаботился о душевном и материальном состоянии вдовы и ее сына, будущего гения русской и американской литературы. Он пригласил Володю Набокова поработать в русском имении под Тулоном, где хозяйствовал тогда его брат Шебатай, сменить обстановку, рассеяться... И расчет чуткого друга семьи оказался верным: молодой Набоков оправился от удара, снова начал писать, влюбился...

Перед смертью С.С. Крым издал книгу легенд Крыма.

Всего доброго, что успел сделать за свою жизнь Соломон Крым, мне не перечесать в кратком поминальном слове. Разве еще вот что: в Ла-Фавьере он получал письма от татар из Крыма с просьбами о помощи, и помогал, и отвечал им на их общем языке.

Спустившись от Борма к «русскому пляжу» Ла-Фавьер, надо непременно побывать на кладбище соседнего местечка Лаванду, где был похоронен известный петербургский поэт САША ЧЕРНЫЙ (ГЛИКБЕРГ Александр Михайлович, 1880–1932), нашедший на этом берегу воплощение своей давнишней мечты о земном рае, выраженной в известном стихотворении:

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты
И брать у людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.

Хотя вершина «русского холма» в Ла-Фавьере была не вполне голой, а, напротив, вполне цветущей, поэт, юморист и сатирик Саша Черный обрел в этом уголке Ривьеры свой новый рай. Хлеб и вино были здесь смехотворно дешевы, а милая жена Марья Ивановна баловала его иногда и котлетами. Так что, не жалуясь на скудость эмигрантской жизни, поэт воспевал прелесть Прованса, блеск моря, уют крошечного Мимозного Борма и соседней с Фавьером деревушки Лаванду.

В прежних, весьма популярных в России сатирических стихах Саши Черного были насмешки над модными идеями столичной и провинциальной интеллигенции, над ее традиционными усилиями сблизиться с «простым народом» («Квартирант и Фекла на диване»). Ныне все это было позади. Нищая русская интеллигенция была здесь в менее завидном положении, чем бывшая простонародная Фекла, так что из стихов Саши Черного ушли даже остатки былой насмешки над собратьями, над интеллигентской неловкостью. Да и что было пользы насмехаться над бедными, над побежденными, все потерявшими. Поэт и сам признавался в своей сатирической робости: «Лежачего бей осторожно, особенно если он твой брат-эмигрант».

А куда ему теперь податься, эмигранту? На родине остался «угрюмый и ущемленный советский быт, столь же непонятный для нас, как Китай иностранцам». И поэт с жалостью смотрел на эмигрантских собратьев. Вот они приезжают на берег для короткого бедняцкого отдыха с жалкими бедняцкими пожитками:

В чемоданах купальные тряпки,
И спиртовки, и русский роман.
А вверху жестяная коробка
Тарахтит, как лихой барабан.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.